

«Пушкин», мыслимого Тыняновым, по его словам, как «эпос о рождении, развитии и смерти национального поэта» (см. [15, с. 43]). Время тотальной унификации и арифметического исчисления личности вызвало к жизни роман о личности, равновеликой самому миру, бытию, народному сознанию и культуре, — ни унификации, ни арифметизации не подлежащим. Уже сам факт рождения этого романа несет в себе парадокс — и на этом же парадоксе роман и замешан. Стремительное сокращение пространства духовной свободы оборачивается не усыханием ее, нет! — а громадным ее энергетическим сжатием, тем сжатием, что уже само по себе есть начало взрыва. Казалось бы, пространство свободы сокращено до абсолютного минимума, до элементарной единицы — до личности. Но все дело в том, что личность эта — Пушкин... Ошеломляющий, невиданный доселе Пушкин встает со страниц романа: Пушкин — воитель, Пушкин — Пророк, всевидящий и всезнающий, постигающий мыслью свой века исторического прошлого нации и словом своим предрекающий ее будущность. Пушкин — инобытие жизни, воплотившее в «страстях» своих ее пульсацию.

Движение образа и движение повествования и осуществляется как процесс насыщения героя жизнью. В «Детстве» (I часть) и «Лицее» (II часть), пока герой, только еще прислушиваясь к миру, активно в тексте не действует, Тынянов стремится погрузить его во все разрастающееся море больших и малых человеческих страстей и страстишек, житейской прозы, предметного быта, национально-исторических катастроф и явлений национальной и мировой культуры. Все это, размывая любые иерархические перегородки, выплескивается на страницы романа, объединяемое свободно движущейся в его толще точкой героя, как бы всасывающего впечатления от всего многообразия мира. Для Тынянова важно утвердить именно жизненную всеядность своего героя, открытость, разомкнутость его в жизнь.

Но когда Пушкин созрел для творчества и для деяния, эта «всеядность» оказывается уже явно недостаточной; теперь для Тынянова важнее всего обозначить принципиальные идейно-нравственные координаты личности героя. Плоскостная монтажность двух первых частей в третьей части («Юность») заменяется лирофилософским, суггестивно-метафорическим сгущением текста. Тынянов спешит заявить здесь в своем герое то главное, то сущностное, что и определило, по его мнению, сам феномен поэтического гения Пушкина. Спешит не только потому, что еще чуть-чуть — и в разрастающемся романе разрастающаяся панорама жизни эпохи может заглушить рост самого героя. Спешит еще и потому, что развивающаяся болезнь оставляет ему слишком мало времени. (И поэтому фактически мы имеем дело с романом хотя и незаконченным, но — внутренне завершенным). Лирические «вытяжки» (по выражению Т. Хмельницкой [16, с. 133]) третьей части, фиксируя уже результаты отбора личностью жизненного материала, как бы проецируются «назад», на две предыдущие части; и оказывается, что «отбиралось» героем безумство ганнибаловых страстей, лицейские «вольности», обостренное ощущение слитности со своей родной и со своим народом, рожденное идеями Куницына, бурями 1812 г., песнями Арины, ощущение, так увенчанное одной из финальных сцен:

«Он увидел в последний раз Арину. И простился как должно. Обнял ее.

— Прощай, мать, — сказал он ей.

— Что вы, Александр Сергеевич, — сказала она, оторопев, — есть у Вас мать.

— Есть, — сказал он серьезно. — Ты и есть мать» [7, т. III, с. 546].

Герой сам «отбирает» генеалогию, адекватную своему самоощущению в мире, и вместе с этой генеалогией принимает всю громаду исторического опыта своего народа. Если герои двух первых романов выясняли свои отношения с историей прежде всего как отношения с современностью, то Пушкину дано мыслить категориями вечности — ибо в вечности же осознает себя народ. «Ты лучше всех понимаешь время, которое проходит,